

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ

## ПОБЕГ В АРЗРУМ

*К 185-летию самого известного путешествия поэта*

*Никогда ещё не видал я чужой земли.  
Граница имела для меня что-то таинственное;  
с детских лет путешествия были моею любимой мечтою.  
Долго вёл я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу,  
то по северу, и никогда ещё не вырывался из пределов необъятной России.*

А. Пушкин. “Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года”

### Страсть к путешествиям

Ах, Пушкин, Пушкин! Сколько всего написано о нём за два столетия, сколько потаённых сторон жизни и творчества поэта было вскрыто его современниками и исследователями. Но ещё остались зияющие пустоты в ускользающем портрете человека, которому суждено было заложить краеугольные камни в здание русской поэзии и литературы. И, пожалуй, самое обидное упущение связано с тем, что до сих пор не воссоздана со всей яркостью и широтой странническая ипостась великого поэта, его сильнейшая страсть к путешествиям, а также многие скрытые черты его конкретных странствий.

Пушкин не просто любил путешествовать, в своих странствиях он получал необычайный творческий импульс, “полнясь пространством и временем”. “Петербург душен для поэта. Я жажду краёв чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу”, – писал он 21 апреля 1820 года, отправляясь в вынужденное путешествие на южные окраины России. Именно с этого первого длительного странствия и началось время скитаний поэта по просторам Отечества. В повести “Станционный смотритель” он словами своего героя сказал: “В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям...”

*Долго ль мне гулять на свете  
То в коляске, то верхом,  
То в кибитке, то в карете,  
То в телеге, то пешком?*

*Не в наследственной берлоге,  
Не средь отческих могил,*

*На большой мне, зная, дороге  
Умереть Господь судил... —*

писал поэт об этих странствиях в 1829 году в своём шедевре “Дорожные жалобы”. По признанию И. И. Пущина, “простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями”.

Дотошные исследователи подсчитали, что только по почтовым дорогам и трактам за свою жизнь Пушкин проехал около 35 тысяч вёрст (русская верста равнялась 500 сажням, или 1,0668 километра). Для сравнения укажем, что это больше расстояния всех переходов путешественника Н. М. Пржевальского. Лишь в Торжке, что лежит на пути между Москвой и Петербургом, поэт побывал более 20 раз! Он посетил сотни губернских и уездных городов, деревень, посёлков и станиц, усадеб и имений, останавливался на многочисленных почтовых станциях, где нужно было менять лошадей.

Если же взглянуть на карту пушкинских путешествий, то самыми крайними точками окажутся на севере — Петербург и Кронштадт, на юге — Карс и Арзрум, на западе — Измаил, Тульчин и Псков, а на востоке — Оренбург и Бердская слобода.

Сенека как-то сказал, что человек должен первые 30 лет учиться, вторые — путешествовать, а третьи — рассказывать о своей жизни, учить молодых и творить. В письме к Плинию он красноречиво писал: “Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменюю мест. Ведь метания — признак большой души... Я думаю, что первое доказательство спокойствия духа, — способность жить оседло и оставаться самим собой”. Как удивительно, что русская поэзия подарила нам намного больше поэтов “с метаниями”, не “оседлых” и не “спокойных духом”, чем “не странствовавших” и не тревоживших себя “переменюю мест”. К числу подвижников странствий (не важно — вольных или невольных) можно, без преувеличения, отнести и Грибоедова, и Пушкина, и Лермонтова, и Бунина, и Гумилёва, и Бальмонта, и Волошина, чьи души питались новыми жизненными соками именно в дороге, в пути, на перекрёстках параллелей и меридианов, пусть даже для некоторых из них эти параллели и меридианы вообще не убежали за русские границы, а сами странствия были не совсем добровольными.

### **Тяга к Востоку**

Первоначальный интерес поэта к Востоку, без сомнения, пробудился в связи с его “африканскими корнями”: прадед поэта, Абрам Петрович Ганнибал, был выходцем из Северной Эфиопии и принадлежал к знатному роду. Позднее Пушкин неоднократно обращался к теме Африки и своего прадеда в произведениях “К Языкову”, “Как жениться задумал царский арап”, “Моя родословная”, “Арап Петра Великого”. Поэт, которого друзья в шутку называли “бес арабский”, а сам он себя называл “потомком негров безобразным”, имел огромный интерес к родине своего прадеда, сочувствовал судьбе “моей братьи негров”, желая их скорого “освобождения от рабства нестерпимого”, и не удивительно, что он мечтал когда-нибудь увидеть Африку:

*Под небом Африки моей  
Вздыхать о сумрачной России,  
Где я страдал, где я любил,  
Где сердце я похоронил...*

Очень важно подчеркнуть, что, прекрасно зная родословную своего “африканского” прадеда, Пушкин воспринимал свои корни и как мусульманские. Об этом свидетельствует факт наличия в пушкинских архивных бумагах анонимной биографии рода Ганнибалы, где указывается, что отец Абрама Ганнибалы “по магометанскому обычаю, имел очень много жен, в числе около тридцати”...

В Лицее, по свидетельству многих, Пушкин особенно много внимания уделял изучению истории и философии, в том числе древней. В рецензии на второй том “Истории русского народа” Н. А. Полевого Пушкин позднее писал:

“... В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства...” Во время обучения Пушкина в Лицее лекции по истории там читал профессор И. К. Кайданов, автор учебника “Основания всеобщей политической истории”, который рассказывал лицеистам и о Персии, “первом великом государстве на свете”, и об учении Зороастра (Заратуштры), и об Аравии, и о Мухаммеде и созданной им религии – исламе. Эти лекции и самостоятельные занятия пробудили у лицеистов стойкое увлечение Востоком, которое выразилось в составленном ими под руководством В. К. Кюхельбекера объёмном “Словаре” с выписками по самым различным вопросам истории, философии и литературы. Пушкин долго ещё помнил этот словарь, в котором встречаются и восточные авторы – Саади, Зороастр:

*Златые дни! Уроки и забавы,  
И чёрный стол, и бунты вечеров,  
И наш “Словарь”, и плески мирной славы,  
И критики лицейских мудрецов...*

Ещё в 1824 году Кюхельбекер писал в статье “О направлении нашей поэзии”: “При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии – Фирдуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей”. Пушкин, к примеру, прекрасно знал перевод стихотворения “Завещание” Саади, и, по мнению литературоведов, оно послужило одним из творческих толчков к написанию им знаменитого “Памятника” с теми же идеями: “Душа в заветной лире / мой прах переживёт...” А в качестве эпиграфа к своему “Бахчисарайскому фонтану” поэт выбрал слова Саади из его поэмы “Бустан”: “Многие так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уж нет, другие странствуют далече”. Эти же строки поэт повторил позже и в “Евгении Онегине”:

*Но те, которым в дружной встрече  
Я строфы первые читал...  
Иных уж нет, а те далече,  
Как Сади некогда сказал.*

Позднее, в 1828 году в стихотворении “В прохладе сладостной фонтанов...” Пушкин воспел последователей поэта Саади, “тешивших ханов стихов гремучим жемчугом”, а самого Саади возвёл на Олимп поэзии, назвав Персию “чудной стороной”:

*Но ни один волшебник милый,  
Владелец умственных даров,  
Не вымышлял с такою силой,  
Так хитро сказок и стихов,*

*Как прозорливый и крылатый  
Поэт той чудной стороны,  
Где мужи грозны и косматы,  
А жёны гуриям равны.*

В 1829 году в черновом варианте стихотворения “На холмах Грузии лежит ночная мгла...” поэт ещё раз вернулся к словам Саади в своей блистательной поэтической манере:

*Прошли за днями дни. Скрылось много лет,  
Где вы, бесценные созданья?  
Иные далеко, иных уж в мире нет —  
Со мной одни воспоминанья.*

Обучаясь в Лицее, Пушкин мог быть свидетелем въезда в Царское Село персидского посольства во главе с Мирзой Аболь Хасан-ханом в 1814 году и так же, как его младший современник князь А. Д. Салтыков, восхититься велико-

лепной процессией персов в ярких одеждах с двумя слонами и множеством лошадей, и захотеть увидеть хотя бы когда-нибудь удивительный восточный мир... “Это странное видение произвело на меня сильное впечатление и породило желание видеть Восток, и особенно Персию”, — писал тогда Салтыков. Пушкин не мог также не читать модных в то время журналов, где то и дело появлялись статьи о Персии. К примеру, в “Вестнике Европы”, где поэт дебютировал в 1814 году, в марте 1815 года были опубликованы статьи “О народах, обитающих в Персии” и “О нынешнем шахе персидском”. Во второй из них с отрывками из стихотворений шаха рассказывалось о том самом Фетх Али-шахе, который через 15 лет сыграл роковую роль в тегеранской трагедии, приведшей к гибели Грибоедова.

Уже в поэме “Руслан и Людмила” чувствуется сильное влияние на Пушкина восточной поэзии, в частности, иранского эпоса Фирдоуси “Шахнаме”, который отдельными эпизодами вошёл в “Повесть о Еруслане Лазаревиче”; Пушкин внимательно изучал её. В этой пушкинской поэме произошло слияние элементов русского народного эпоса с элементами восточных сюжетов, ведь поэт, к примеру, сам признавался, что

*...благо мне не надо  
Описывать волшебный дом;  
Уже давно Шехерезада  
Меня предупредила в том.*

А в “Бахчисарайском фонтане” Пушкин прекрасно передал жизненные идеалы, религиозные и моральные представления людей Востока, которые особенно ярко выразили в прошлые века великие персидские поэты, говорившие о предпочтении земного блаженства райскому. В так называемой татарской песне из этой поэмы Пушкин прямо признал, что земные радости блаженней даже паломничества в Мекку и геройской гибели:

*Дарует небо человеку  
Замену слёз и частых бед:  
Блажен факир, узревший Мекку  
На старости печальных лет.*

*Блажен, кто славный брег Дуная  
Своею смертью освятит:  
К нему навстречу дева рая  
С улыбкой страстной полетит.*

*Но тот блаженней, о Зарема,  
Кто, мир и негу возлюбя,  
Как розу, в тишине гарема  
Лелеет, милая, тебя.*

Любопытно, что три недели, проведённые Пушкиным в августе-сентябре 1820 года в Гурзуфе, маленькой татарской деревне в Крыму, поэт считал “счастливейшими минутами жизни своей”. Поселившись там вместе с Раевскими на даче бывшего генерал-губернатора Новороссийского края герцога Ришелье, он нашёл в библиотеке сочинения Байрона, которые раньше читал по-французски. Теперь же при помощи друга Николая Раевского он упорно изучал английский язык и прочёл в подлиннике восточные поэмы Байрона: “Гяура”, “Корсара”, “Лару”, “Абидосскую невесту”, “Осаду Коринфа” и “Паризину”. Эти поэмы не могли не повлиять на поэта, что чувствуется во многих его восточных произведениях. Вслед за Байроном Пушкин считал, что в увлечении Востоком поэт должен сохранять вкус и взор европейца. Он прямо признавался, что при написании “Бахчисарайского фонтана” “слог восточный” был для него “образцом, сколько возможно нам, благоразумным, холодным европейцам”.

Дотошными исследователями творчества Пушкина установлено, что из 2 000 слов, наиболее часто употребляемых в текстах поэта, слова “турок”, “француз”, “роза” встречаются 101 раз, прилагательное “турецкий” — 75 раз, слово “восток” — 44 раза, слова “кавказский” и “Русь” — 42 раза, а “гарем” — 41 раз. Налицо явное увлечение поэта восточным колоритом. Существуют

многочисленные свидетельства, что Пушкин несколько раз предпринимал попытки изучения турецкого, арабского, древнееврейского и других восточных языков, но далеко в этом не продвинулся. В его библиотеке хранилось множество книг, посвящённых истории и культуре восточных стран, которыми он постоянно пользовался. Это относится и к “Истории Персии” Джона Малькольма, изданной в Париже в 1821 году.

### Пушкин и Грибоедов

Прежде чем приступить к описанию “побега” Пушкина на Восток, в Эрзрум (Арзрум, Эрзерум), мы не обойдёмся без того, чтобы вкратце не рассмотреть вопрос о взаимоотношениях “двух странников” русской поэзии, очень сильно повлиявших друг на друга не только в творческой сфере, но и в делах странствий. Начнём с совпадений, которые связали судьбы двух “первых поэтов России” того времени в тугой узел. Оба – Александры Сергеевичи, оба родились в конце “славного XVIII века” с разницей всего в четыре с половиной года, в одной и той же дворянской среде. Есть данные, что они были знакомы друг с другом ещё с 1809–1810 годов. Как вспоминала в своих “рассказах бабушки”, изданных в 1885 году, Е. П. Янькова, “виделись мы <с М. А. Ганнибал> ещё у Грибоедовых... В 1809 или 1810 годах Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом... Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки, которые мы брали с Пушкиной-девочкой, с Грибоедовой (сестрою того, что в Персии потом убили)... Мальчик Грибоедов, несколько годами постарше его <Пушкина>, и другие его товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом <Пушкине> всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно”. Конечно, разница в возрасте двух подростков была тогда довольно существенна, но при следующей встрече оба начинающих поэта, хотя старшему из них уже удалось несколько лет прослужить гусаром, не могли не узнать друг друга лучше.

Дело в том, что летом 1817 года Грибоедов и Пушкин почти одновременно поступили на службу в Коллегию иностранных дел, и по роду службы они, хотя и редко, но встречались. Как вспоминала об этих встречах актриса А. М. Колосова, Грибоедов и его друзья относились к Пушкину, “как старшие к младшему: он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса”. А П. П. Каратыгин указывал, что “никого не щадивший для красного словца, Пушкин никогда не затрагивал Грибоедова; встречаясь в обществе, они разменивались шутками, остротами, но не сходились столь коротко, как, по-видимому, должны были бы сойтись два одинаково талантливые, умные и образованные человека”.

Сойтись теснее им помешала скитальческая судьба: Грибоедов уехал на Кавказ и в Персию в августе 1818 года почти на пять лет, а Пушкин в 1820 году более чем на 6 с половиной лет отправился в ссылку. Так два молодых поэта оказываются в самом расцвете сил в долгих странствиях. При этом они внимательно следят за творчеством друг друга. В декабре 1823 года Пушкин спрашивал Вяземского в письме из Одессы: “Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чедаева” (позднее Грибоедов, чтобы избежать ассоциаций с П. Я. Чаадаевым, сменил фамилию главного героя с “Чадский” на “Чацкий”). В этот период Пушкин нарисовал в своей тетради первый портрет Грибоедова, а всего их в портретной “рукописной” галерее поэта насчитывается, по разным интерпретациям, от 3 до 6, что само по себе говорит о многом.

В январе 1825 года И. И. Пущин привёз в Михайловское “Горе от ума” Грибоедова, и, несмотря на отдельные первоначальные критические замечания, Пушкин воспринял это произведение с особым вниманием, признав в нём выдающееся творение, а самого поэта он назвал “истинным талантом”. Сначала 28 января он написал П. А. Вяземскому: “Читал я Чацкого – много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умён”. Однако через несколько дней, успев лучше обдумать пьесу, он сообщал А. А. Бестужеву: “Слушал Чацкого, но только один раз, и не с тем внимани-

ем, коего он достоин... Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следств<sup>енно</sup>, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов и Скалозуб превосходны. ... Вот черты истинно комического гения... В комедии “Горе от ума” кто умное действ<sup>ующее</sup> лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, прошедший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, — очень умно... О стихах я не говорю: половина должна войти в поговорку”. При этом поэт просил своего адресата: “Покажи это Грибоедову”.

Комедия Грибоедова оказала сильное влияние на многие произведения Пушкина, особенно на “Бориса Годунова” и “Евгения Онегина”. Не вдаваясь в подробности и не упоминая скрытые параллели и созвучия, укажем лишь на то, что в “Онегине” поэт трижды прямо ссылается на “Горе от ума”: в шестой главе, когда он воспроизводит строку Грибоедова: “И вот общественное мнение!”; в эпиграфе к седьмой главе: “— Гоненье на Москву! Что значит видеть свет! / — Где ж лучше? / — Где нас нет!” и в восьмой главе, где Онегин, “убив на поединке друга”, “ничем заняться не умел” и отправился в путешествие:

*Им овладело беспокойство,  
Охота к перемене мест  
(Весьма мучительное свойство,  
Немногих добровольный крест).*

Как видим, в своём главном поэтическом творении Пушкин отдал весомую дань как теме путешествий (с частично восточным колоритом), так и памяти своего товарища по писательскому цеху — Александра Грибоедова.

А совпадения в судьбах двух великих поэтов продолжались. Прогремело восстание декабристов, и оба поэта оказались под подозрением в причастности к заговору. Грибоедов был арестован в крепости Грозной 22 января 1826 года, а выпущен с “очистительным аттестатом” лишь 2 июня того же года по милости императора Николая I, с которым имел через четыре дня важную беседу. Пушкина Николай I вызвал из ссылки в Михайловское и после беседы с глазу на глаз 8 сентября 1826 года простил. Однако встретиться двум “освобождённым” поэтам удалось только после 14 марта 1828 года, когда Грибоедов вернулся в Петербург из Персии с Туркманчайским договором и остановился в той же гостинице Демута на Конюшенной, где жил в те дни Пушкин. И какой же малый срок отпустила судьба для общения гениев русской поэзии, прежде чем они расстались уже навсегда!

По сведениям современников и исследователей, в этот период Пушкин и Грибоедов общались довольно близко и встречались не менее 7 раз, не считая не зафиксированных никоим встреч, которые могли происходить, к примеру, в той же гостинице Демута. При этом поэты встречались на обедах у П. П. Свинына и М. Ю. Вильегорского, в салоне графа И. С. Лавалы; в доме Жуковского вместе с Вяземским и Крыловым обсуждали план своей совместной поездки в Лондон и Париж. Как вспоминал об одной из таких встреч К. А. Полевой, “Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его как нельзя больше, и за несколько дней сказал мне о нём: это один из самых умных людей России. Любопытно послушать его... В этот вечер Грибоедов читал наизусть отрывок из своей трагедии “Грузинская ночь”.

Тяжёлые предчувствия тогда просто витали в воздухе, и не случайно ли 30 апреля во время ночной встречи в гостях у Пушкина тот предложил друзьям-поэтам (Грибоедова на этой встрече не было) для обсуждения события, свидетелем которого поэт был в Одессе несколько лет назад: “...приплытие Чёрным морем к одесскому берегу тела Константинопольского Православного Патриарха Григория V, убитого турецкой чернью”? (Как иногда могут совпадать события, разделённые и по времени, и по месту действия!).

25 мая Пушкин и Грибоедов участвовали в устроенном Вяземским пикнике в Кронштадте, куда друзья добирались на пароходе. (Любопытно, но именно в этой поездке участвовал с молодой женой Дж. Кемпбелл, секретарь британской миссии в Персии, предсказавший Грибоедову, что его ждут большие сложности и неприятности в Тегеране). Наконец, накануне 6 июня 1828 года,

как писал Пушкин, он расстался с Грибоедовым “в Петербурге перед отъездом его в Персию”.

О влиянии поэтов друг на друга говорят многие факты. Например, Грибоедов слышал “Бориса Годунова” в исполнении Пушкина, а тот в набросках предисловия к этому произведению откровенно написал: “Грибоедов критиковал моё изображение Иова — Патриарх, действительно, был человеком большого ума, я же по рассеянности сделал из него глупца”. По-видимому, рассказы Грибоедова о Персии и Востоке действовали на Пушкина и в том смысле, что после этих встреч в его стихотворениях с восточными мотивами окончательно исчезают элементы нарочитой экзотики и чрезмерной романтики и всё сильнее становятся признаки реализма. Ведь совершенно очевидно, что главной темой разговоров двух поэтов, особенно в силу острой любознательности Пушкина, была именно Персия; их беседы касались истории и быта, поэзии и религии этой страны или, в более широком смысле, это была тема Востока, хотя, конечно, этим общение поэтов не ограничивалось.

И, конечно, встречи с Грибоедовым не могли не сказаться на решимости Пушкина поучаствовать в тех грандиозных событиях, которые разыгрывались в это время на южных рубежах России, о чём свидетельствовали его многочисленные обращения к императору с просьбой отправить его в армию, действовавшую на Кавказе против турок. Получив отказ, поэт от огорчения сильно захворал, впад “в болезненное отчаяние... сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нём, и он опасно занемог”, как вспоминал навещавший Пушкина сотрудник III Отделения А. А. Ивановский.

16 июля 1828 года Грибоедов в Тифлисе сделал предложение юной, не достигшей ещё 16 лет Нине Чавчавадзе, с которой повенчался уже 22 августа, а Пушкин в конце декабря того же года впервые встретил на балу в доме Кологривовых юную красавицу Наталью Гончарову, которой было... 16 лет (вот ещё одно совпадение судеб двух поэтов, встретивших почти одновременно свою настоящую любовь). Как писал позднее Пушкин: “Когда я увидел её в первый раз, красоту её едва начали замечать в свете. Я полюбил её. Голова у меня закружилась...” Своё предложение невесте Пушкин сделал 30 апреля 1829 года в Москве, когда он уже начал осуществлять план своего долгожданного побега на Кавказ: 4 марта поэт получил подорожную “на проезд от Петербурга до Тифлиса и обратно”, подписанную Санкт-Петербургским почт-директором К. Я. Булгаковым, минуя III Отделение и нарушая при этом установленный порядок. Поэта ждало весьма длительное странствие: почтовый тракт от Петербурга до Тифлиса насчитывал 107 станций и 2670 верст.

Куда же всё-таки ехал Пушкин? Вопрос этот совсем не праздный, ведь не случайно же П. А. Вяземский, прекрасно знавший и Грибоедова, и Пушкина, писал в своих письмах и дневниках того периода, что Пушкин отправлялся куда-то “дальше”, “на Восток”. Позволим себе высказать предположение, которое, конечно, следует ещё подтвердить и доказать, что во время своих встреч в Петербурге Пушкин и Грибоедов могли договориться о том, что Грибоедов, имея полномочия по приёму в состав своего посольства новых сотрудников, в случае приезда Пушкина в Тифлис попытается принять его на службу или просто возьмёт его с собой в Персию. Для Пушкина как сотрудника Коллегии иностранных дел, которого никуда не отпускало начальство, такой поворот в судьбе мог быть весьма привлекательным, особенно учитывая его желание воочию увидеть Персию и постоянные неувязки в тот период с устройством им своей личной жизни (вспомним хотя бы о готовности поэта уехать в Китай в долгосрочную экспедицию).

Пушкину было хорошо известно, что Грибоедов как российский посланник в Персии должен был длительное время находиться именно в Тифлисе, отправляясь оттуда в Персию и возвращаясь обратно (напомним, что, уехав из Петербурга в конце июля 1828 года, Грибоедов отправился в Персию лишь 6 октября, а из Тегерана в Тавриз он планировал вернуться в конце января — начале февраля 1829 года, когда и произошла трагедия). И Пушкин, отправляясь на Кавказ из Петербурга в начале марта 1829 года, как раз и мог рассчитывать на то, что он застанет Грибоедова в Тифлисе. А само ужасное известие о гибели поэта-дипломата дошло до Пушкина уже в Москве около 20 марта, что не могло не внести коррективы в его планы. Ведь поэт, перестав торопиться, пробыл в Москве до 2 мая, причём он отправился сначала в Орёл к генералу Ермолову, с которым Грибоедов служил долгие годы.

В Москве поэт обсуждал тегеранскую трагедию со многими своими знакомыми и друзьями, в том числе с сёстрами Ушаковыми, о чём может свидетельствовать очень выразительный портрет Грибоедова, который Пушкин нарисовал позднее в альбоме Ел. Н. Ушаковой. Примечательно, что поэт изобразил Грибоедова именно в персидской шапке. (В последний раз Пушкин нарисовал Грибоедова в своих рукописях в мае 1833 года).

Пушкин не скрывал от друзей, что он собирается на Кавказ, и эта новость не могла не вызывать и в Петербурге, и в Москве кривотолки, во-первых, о каком-то мифическом плане Пушкина бежать через турецкое побережье за границу, во-вторых, об опасности такого путешествия, а в-третьих, о бросающейся в глаза схожести судьбы поэта с судьбой Грибоедова. В. А. Ушаков, например, писал: “В прошедшем году (т<о> е<сть> в апреле 1829 г<ода>) я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. “О, Боже мой, — сказал я горестно, — не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова. — Так что же? — отвечал поэт. — Ведь Грибоедов сделал своё. Он уже написал “Горе от ума”. А в письме московского почт-директора А. Я. Булгакова к брату от 21 марта 1829 года говорилось о той же аналогии: “Он <Пушкин> едет в армию Паскевича узнать ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть это всё. “Ах, не ездите, — сказала ему Катя, — там убили Грибоедова. — Будьте покойны, сударыня, — неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей? Будет и одного”.

### Побег в Арзрум

Убегая на Кавказ, Пушкин не думал об опасностях пути:

*Я ехал в дальние края;  
Не шумных... жаждал я,  
Искал не злата, не честей  
В пыли средь копий и мечей.*

Поэт не мог не чувствовать витавшие и над ним порывы “роковой” судьбы. И как это часто бывало в его жизни, он сам смело шёл навстречу этим веяниям, проявляя почти безрассудный героизм и стремясь к выполнению задачи, сформулированной им самим ещё в марте 1821 года: “Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа...” Начнём с того, что, фактически убегая из столиц якобы только для “свидания с братом и некоторыми из моих приятелей”, поэт не мог не понимать, что его ждут серьёзные неприятности. Конечно, этот побег выглядел довольно странно. О планируемом отъезде поэта знали очень и очень многие, подорожная ему, хотя и с нарушениями, была выписана. Пушкин, приехав в Москву 14 марта, уехал из неё только в ночь на 2 мая. Получается, что *недреманное око* жандармского надзора почему-то выпустило из поля зрения поэта, и не специально ли Пушкину было дозволено всё-таки отправиться на Кавказ, чтобы он мог воспеть впоследствии победы русского оружия? “Узнав случайно, что г. Пушкин выехал из С.-Петербурга по подорожной, выданной ему... на основании свидетельства частного пристава Моллера”, Бенкендорф ещё 22 марта распорядился о продолжении за Пушкиным “секретного наблюдения” в местах следования. Показательно, что уже 12 мая в Тифлисе генерал И. Ф. Паскевич довёл до сведения военного губернатора Грузии С. С. Стрекалова, что направляющийся на Кавказ Пушкин должен состоять под секретным надзором. При этом сам Пушкин прибыл в Тифлис только 27 мая.

“Путешествие в Арзрум” — истинный шедевр мемуаристики и “путевой литературы” — было написано Пушкиным в 1835 году и в следующем году напечатано в журнале “Современник”. Вобравшее в себя впечатления от поездки на Кавказ, оно не должно восприниматься только в качестве путевого дневника, ведь за внешней повествовательностью в нём просматривается явная художественная задача автора по осмыслению роли и предназначения поэта, оказавшегося в центре великих исторических событий. При этом совсем не



случайно в “Путешествии...” сквозной нотой звучит тема Грибоедова, оказавшегося первым в ряду страдальцев русской поэзии.

Показательно, что своё путешествие Пушкин начал с посещения в Орле бывшего главнокомандующего на Кавказе генерала А. П. Ермолова, с которым долгое время работал Грибоедов и о котором не мог не рассказывать поэту во время их встреч в 1828 году. Из дневника Пушкина следует, что при встрече собеседники говорили и о судьбе Грибоедова, хотя Пушкин упомянул не о его трагедии, а об отношении к его стихам Ермолова: “О стихотворениях Грибоедова говорит он, — замечал Пушкин, — что от их чтения скулы болят”.

Не успел Пушкин выехать из Владикавказа, как 24 мая на пути по Дарьяльскому ущелью он встретил ту самую “искупительную миссию” персидского принца Хосрова Мирзы, направленную шахом Ирана в Петербург для извинений за гибель русского посольства в Тегеране. Вот как Пушкин описал встречу с персидским поэтом Фазиль-ханом, находившимся в составе миссии: “Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазиль-хану. Я, с помощью переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазиль-хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостью порядочного человека! “Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и пр.” Со стыдом принуждён я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости! Вперёд не стану судить о человеке по его бараньей пахле и по крашеным ногтям”.

О том, что эта встреча также навеяла Пушкину воспоминания о Грибоедове, свидетельствует хотя бы то, что в черновой редакции его очерка приводилась цитата из “Горя от ума”... (Пушкин. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 1017), а одного из участников персидской миссии, камергера двора персидского шаха, позднее, осенью 1829 года Пушкин нарисовал по памяти в том же альбоме Ел. Н. Ушаковой, где он запечатлел и самого Грибоедова в персидской шапке. А в своём наброске стихотворения, посвящённого Фазиль-хану, Пушкин совсем не случайно вспомнил любимых им так же, как и Грибоедовым, персидских поэтов Хафиза и Саади:

*Благословен твой подвиг новый,  
Твой путь на север наш суровый,  
Где кратко царствует весна,  
Но где Гафиза и Саади  
Знакомы ..... имена.*

*Ты посетишь наш край полночный,  
Оставь же след .....  
Цветы фантазии восточной  
Рассыпь на северных снегах.*

Позднее, 5 июня в военном лагере при Евфрате, Пушкин написал ещё одно стихотворение “Из Гафиза”, обращённое к Фаргат-беку, татарскому юноше, входившему в мусульманскую воинскую часть русской армии:

*Не пленяйся бранной славой,  
О, красавец молодой!  
Не бросайся в бой кровавый  
С карабахскою толпой!*

В черновике этого стихотворения сохранилась важная запись Пушкина: “Шеер I. Фаргад-Беку”, которая может свидетельствовать о том, что поэт задумывал тогда написать целый цикл стихов (по-азербайджански “шеер” или “шеир” означает стихотворение) из Хафиза и других персидских лириков, но не смог впоследствии этого сделать. К тому же, по мнению исследователя Д. И. Белкина, указанный стих являлся своеобразным ответом на поэтическое творение “В Персию” поэта А. Н. Муравьёва, который вскоре совершит знаковое и отмеченное Пушкиным паломничество в Иерусалим.

Стихотворение “Не пленяйся бранной славой...”, скроенное из элементов русской и персидской лирики, отличает гуманное отношение поэта к жестокостям войны и его уверенность в том, что смерть не встретит “молодого красавца”. Такое же настроение гуманизма и желания избежать лишних смертей звучит и в пушкинском описании последних минут жизни воевавшего в русских рядах и раненого Умбай-бека из Ширвана: “Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умиравший бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга”.

Следует дополнительно отметить, что в описании встречи с персидским принцем Пушкин больше внимания уделил поэту Фазиль-хану, нежели самому принцу. Думается, что, когда Пушкин в 1835 году работал над “Путешествием...”, ему уже была хорошо известна довольно постыдная для властей предрежащая история, связанная с тем, что слишком пышные многомесячные приёмы принца в России и царскими властями, и аристократией резко контрастировали с замалчиванием героической судьбы Грибоедова и официальными обвинениями его в том, что он якобы сам виноват в разыгравшейся трагедии.

Встретив миссию персидского принца, Пушкин не знал, что в её составе в качестве личного врача принца находился том самый Гаджи-баба (Хаджи-баба), о котором он упомянул в “Путешествии...”, рассказывая о прошлом Арзрума. Дело в том, что этот врач, посланный Аббас Мирзой на обучение в Лондон, провёл там 9 лет и стал прообразом главного героя двух романов английского писателя Дж. Мориера “Похождения Хаджи-бабы из Исфагана” и “Мирза Хаджи-баба Исфагани в Лондоне”. Пушкин прекрасно знал эти романы, и, наверное, он бы сильно удивился, встретив по пути в Тифлис легендарного литературного персонажа. Кроме упоминания романов Дж. Мориера, в своём “Путешествии...” Пушкин цитировал (причём на английском языке) в описании тифлиских бань известную поэму английского романтика Т. Мура “Лалла-Рук”, которая была очень популярна в России. А в ряде мест его путевых записок можно заметить перекличку с также широко известными в России “Персидскими письмами” Монтескье. Пушкин при этом, как и Грибоедов ранее, переходил в описании увиденного им во время странствий от романтизма к явному реализму, навеянному зримыми приметами восточного мира.

Снова ощутив благотворное влияние Востока, Пушкин создаёт во время своего длительного путешествия и позднее новые поэтические шедевры: “На холмах Грузии лежит ночная мгла...”, “Калмычке”, “Олегов щит”, “Дон”, “Брожу ли я вдоль улиц шумных...”, “Кавказ”, “Обвал”, “Делибаш”, “Монастырь на Казбеке”, “Опять увенчаны мы славой...”, “Был и я среди донцов...”, “Меж горных стен несётся Терек...”, “Стамбул гяуры нынче славят...”, “Подражание арабскому”, “Когда владыка ассирийский...”, “Золото и булат”, неоконченную поэму “Тазит”. И как бы восторженно ни звучали все эти стихи, в них то и дело слышалась печальная нота тягостных предчувствий:

*День каждый, каждую минуту  
Привык я думой провождать,  
Грядущей смерти годовщину  
Меж их стараясь угадать.*

*И где мне смерть пошлёт судьбина?  
В бою ли, в странствии, в волнах?  
Или соседняя долина  
Мой примет охладельный прах?*

Совершая свой “побег на Кавказ”, Пушкин как будто бы бежал ещё дальше – к “вольному” небу, “вожделенному” свету и “вечным лучам”, а иначе – к Богу. Горный монастырь на Казбеке поэт отчётливо увидел в образе спасительного ковчега:

*Высоко над семьёю гор,  
Казбек, твой царственный шатёр  
Сияет вечными лучами.  
Твой монастырь над облаками,*

*Как в небе реющий ковчег,  
Парит, чуть видный над горами.*

*Далёкий, возделенный берег!  
Туда б, сказав “прости” ущелью,  
Подняться к вольной вышине!  
Туда б, в заоблачную келью,  
В соседство Бога скрыться мне!..*

Путешествие в Арзрум было одним из самых тяжёлых испытаний в жизни поэта, прежде всего, потому, что его ждали трудности долгого и изнурительного пути то верхом, то пешком, бывало, по 40–50 вёрст в день, а также опасность угодить под “горскую пулю” в любом месте, о чём рассказано на многих страницах “Путешествия...” В дороге поэту пришлось действительно показывать чудеса выносливости.

Прибыв в Тифлис 27 мая, на следующий день после своего тридцатилетия, Пушкин не мог не вспоминать ежедневно о Грибоедове, о котором в этом городе действительно напоминало очень многое, ведь он уехал из него с молодой женой в Персию всего лишь восемь с половиной месяцев назад. А встречаться Пушкину пришлось со многими друзьями и знакомыми Грибоедова, которые не могли не рассказывать о нём гостю: с гражданским губернатором П. Д. Завилейским, соавтором Грибоедова в работе над очень важным “Проектом Российской Закавказской компании”, с П. Н. Ахвердовой, воспитательницей жены Грибоедова Нины Чавчавадзе, с редактором “Тифлисских ведомостей” П. С. Санковским. Почему Пушкин не встретился с самой вдовой Грибоедова, не совсем ясно, вероятнее всего, она болела после тяжкой вести о смерти мужа и смерти сына Александра или её просто не было тогда в Тифлисе, в которой она вернулась из Тавриза в марте того же года.

### **Встреча на перевале**

Получив 10 июня разрешение Паскевича присоединиться к армии, Пушкин, меняя лошадей на казачьих постах, “галопом помчался” к лагерю русских войск, преодолев в первый день 72 версты, во второй – 77, в третий – 94, в четвёртый – 46, всего, с учётом пройденного ещё походным порядком вместе с войсками, около 320 вёрст за 4 дня. Такую нагрузку мог себе позволить только самый опытный кавалерист. И именно в эти изнурительные для поэта дни произошли два события, которые автор “Путешествия...” описал с особым настроением. Первое – 11 июня неподалёку от крепости Гергеры. Вот слова автора: “Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении... Я взглянул ещё раз на опалённую Грузию и стал спускаться по отлогому склону горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был другим.

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окружённой издали горами... Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле, я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пёстрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли... Я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряжённые в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы? – спросил я их. – Из Тегерана. – Что вы везете? – Грибоеда”. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис”.

Далее в “Путешествии...” следует широко известный, примерно полутрестраничный текст о Грибоедове, который включает в себя и воспоминания Пушкина о встречах с другом, в том числе о последней из них, наполненной трагическими предчувствиями поэта-посланника, и точный психологический портрет Грибоедова с особенностями его характера и вехами судьбы, и слова о завидном для Пушкина геройском завершении жизненного пути его товарища и тезки: “Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна”.

Не о такой ли смерти для себя думал и мечтал сам Пушкин, который в трагические дни дуэльной истории с Дантесом бесстрашно шёл на поединок, словно в смертельный бой, защищая и свою честь, и честь своей жены. Так же геройски Пушкин вёл себя и во время своего арзрумского приключения, беря пример в том числе и с Грибоедова. И. П. Липранди как-то отметил такую показательную черту характера поэта: “Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту” (напомним, что и игроком Пушкин тоже был азартным!).

Сетуя, что “замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов”, Пушкин фактически ответил на вопрос, почему в его “Путешествии...” появилась отдельная вставка о Грибоедове: “Написать его биографию было бы делом его друзей...” Пушкин, по сути, отдал дань памяти поэта-мученика, имя которого сразу же после гибели стало запретным с учётом загадочных и политически острых обстоятельств его гибели.

Но была ли сама эта встреча в горах, мистическое значение которой бросалось в глаза уже в 1830-е годы: ведь там, на Кавказе, произошла символическая передача условной палочки “одного из первых поэтов России” от Грибоедова к не превзойдённому никем Пушкину, но одновременно и трагической линии судьбы от более старшего к более молодому поэту? Для сомнений, действительно, есть немало оснований. Во-первых, ещё никем точно не рассказано, могли ли вообще встретиться именно в этот день и именно в этом месте Пушкин и траурная процессия. Во-вторых, Пушкин, зная прекрасно пройденный им маршрут, почему-то, как будто бы специально, перепутал в своём повествовании положение мест следования: крепость или село Гергеры расположена на самом деле до Безобдальского перевала, а не после него, как он указал в тексте, рядом с этим селом нет никаких “трёх шумных потоков”, и стоит оно не на “высоком берегу реки”. В-третьих, и это самое главное, Пушкин увидел не внушительную и торжественную процессию, а весьма скромную и немногочисленную: два вола везли арбу, сопровождаемую несколькими грузинами.

Попробуем разгадать эту загадку, которая давно уже будоражит умы исследователей. Начнём с того, что тело убитого Грибоедова действительно пережило удивительную эпопею. После разгрома миссии оно в силу страшных повреждений было с величайшим трудом опознано среди трупов убитых только по сведённому мизинцу – это было следствием ранения, полученного поэтом во время дуэли с А. И. Якубовичем в 1819 году. В церковных книгах сохранилась запись, свидетельствующая о том, что в 1829 году в армянской церкви Тегерана в течение двух месяцев находились три гроба с покойниками: русским послом Грибоедовым, князем С. Меликовым, также погибшим во время резни, и богатой пожилой армянкой Воски-ханум. Остальные погибшие, до перезахоронения их на территории армянской церкви в 1836 году, были просто свалены в яму за городом и находились там около 7 лет.

В архиве той же церкви имеется запись о церемонии погрузки на телегу гроба посланника для отправки к русской границе. Этот гроб, самой простой работы, покрытый “чёрным плисом”, который везли “в трахтраване, обшитом белым сукном”, сопровождался до границы с Россией сотней вооружённых сардаров во главе с персидским офицером и сначала был доставлен в Тавриз, где при участии русского консула А. К. Амбургера к гробу приделали ручки и накрыли его малиновым балдахинном, на котором золочёными нитками был вышит российский герб.

1 мая 1829 года гроб был переправлен на пароме через Аракс в районе Джульфы (вот новое совпадение: именно в этот день Пушкин выехал из Москвы на Кавказ) и торжественно встречен на российском берегу войском и духовенством. На всём пути следования траурного кортежа в сторону Нахичевани его сопровождала толпа скорбящих людей. В Нахичевани, из-за изуродованности тела и его жуткого состояния по причине длительности хранения, гроб был законопачен и залит нефтью. 3 мая гроб с телом Грибоедова выехал из Нахичевани, его сняли с колесницы и повезли дальше уже на простой арбе, потому что долгая горная дорога не допускала иного транспортного средства, а также не способствовала массовому торжественному шествию. Сопровождать гроб через Эчмиадзин, Гумри и Джалал-оглы в Тифлис было поручено прапорщику Тифлисского пехотного полка Макарову с командой солдат этого полка.

Почему же до Безобдальского перевала и крепости Гергеры процессия двигалась так долго — до 11 июня, ведь примерное расстояние до них от Нахичевани по дорогам того времени — не более 500 верст? Объяснение состоит в том, что тогда в разных местах вспыхивала эпидемия чумы, повсюду вводились карантинные меры, на дорогах выставлялись заставы и ограничивали проезд транспорта и людей. Траурный кортеж вынужден был не раз останавливаться из-за этих карантинных мер и лишь в конце июня достиг предместья Тифлиса — Ортачала (Артчала) в трёх верстах от города, где снова пришлось переждать карантин. Лишь 17 июля гроб с телом был доставлен в Сионский кафедральный собор Тифлиса, а 18 июля погребён в монастыре Святого Давида на горе Мтацминде (ещё одно совпадение: именно на следующий день Пушкин отправился из Арзрума обратно в Тифлис). Так закончилась почти полугодовая эпопея путешествия останков Грибоедова.

Пушкин, выехав из Тифлиса 10 июня и проехав за два дня почти 150 верст, именно 11 июня въезжал верхом в Армению со стороны Грузии, через Гергеры, по дороге, которая нынче заброшена и заменена другой, того же приблизительно направления, связывающей районные центры Армении — Степанаван (раньше Джалал-оглы) и Калинино (раньше Воронцовка) — со столицей Грузии Тбилиси. Перевал, где, по некоторым данным, состоялась историческая встреча, находится между Ванадзором и Степанаваном, раньше он назывался Безобдальским, но был переименован в Пушкинский в честь печальной встречи, так же как и село Гергеры получило имя Пушкино. Высота Пушкинского перевала 2030 метров, и с него действительно открываются потрясающие виды на Армению. В 1938 году на перевале в произвольно выбранном месте был установлен памятник-родник с бронзовым барельефом, изображающим Пушкина на коне, рядом с ним — арба, запряжённая волами, а на арбе — гроб. Памятник собирались установить сначала на вершине горы, но из-за геологических условий не смогли этого сделать. Поэтому он был установлен на 860 метров ниже, у старого шоссе Степанаван—Ленинакан (ныне Гюмри). В 1971 году через гору построили двухкилометровый тоннель, и памятник стало неудобно посещать, так как он находился вдалеке от новой дороги. Поэтому было принято решение перенести его ближе к селу Гергеры. Памятник переместили почти на 8 километров и 30 ноября 2005 года открыли на новом месте, опять же совершенно произвольно. Получилось, что памятник стоял и стоит совершенно не там, где, согласно описанию поэта, произошла та самая встреча. Думаю, что когда-нибудь должна будет восторжествовать справедливость, и памятник будет перенесен туда, где находится его законное место.

Но была ли всё-таки встреча на перевале? Посмотрим утверждать, что была. Указанные выше сомнения рассеиваются, если учесть следующие существенные обстоятельства. 1. Время следования Пушкина в одну сторону, а гроба с телом Грибоедова — в другую сторону по одной и той же дороге, соединявшей Грузию и Армению, доказывает, что они *могли* пересечься в указанной точке *именно 11 июня*. Надеюсь, что где-нибудь в архивах ещё прячутся документы о точном расписании движения процессии, которые подтвердят это утверждение. 2. Неточности в описании Пушкиным порядка следования и деталей окружающей природы можно объяснить не только тем, что он описывал эти события по памяти, хотя и с использованием своего кавказского дневника, позднее, в 1830-м или 1835 году, но и тем, что, по-видимому, для поэта такие детали не имели существенного значения, ведь он передавал не только и не столько чёткую документальную картину увиденного, сколько яркий художественный образ своего путешествия. По мнению исследователя К. В. Айвазяна, Пушкин то ли по забывчивости, то ли специально назвал именем Гергеры село Джалал-оглы (в 1924 году переименованное в честь Степана Шаумяна в город Степанаван), которое подходит по всем приметам: и три речки сливаются здесь перед въездом в село, и стоит это село, представлявшее собой крепость, именно на “высоком берегу”.

Мне посчастливилось проехать тем же путём, которым следовал Пушкин в Арзрум по Армении, и я могу с полной уверенностью утверждать, что историческая встреча состоялась никак не на самом Пушкинском перевале и никак не в Гергерах, а именно в Джалал-оглы, которое полностью подходит под то описание, которое оставил поэт.

Это же обстоятельство художественности, а не строгой документальности, вероятнее всего, сыграло свою роль и в том, как скупой описал Пушкин са-

му траурную процессию. Напомним, что все обстоятельства гибели Грибоедова были фактически преданы забвению сразу же после трагедии, и даже упоминает о них тогда было запрещено цензурой. Пушкин хотел, прежде всего, привлечь внимание российской публики на самую память о великом русском поэте, погибшем на дипломатическом посту, и разукрашивать картину проводов “уже почти забытого светом” поэта он просто не посчитал нужным.

При этом Пушкин отнюдь не погрешил против истины. Мы знаем, что гроб с телом в горных условиях везли действительно на арбе (примечательно, что первоначально поэт писал, что её везли “четыре вола”, потом он написал “два вола”), а колесница или следовала далее, или просто была оставлена где-то на очередном карантине. Не забудем, что шёл уже 38-й день путешествия гроба из Нахичевани, и, конечно, на безлюдной горной дороге никому не нужна была торжественная процессия с “малиновым балдахином” с “расписанным золотом российским гербом” и марширующей ротой солдат. Всё происходило намного прозаичнее: сопровождавшие гроб солдаты, к стати, именно Тифлисского, а значит, грузинского полка во время нудного пути по жаре и горным перевалам могли не соблюдать строгости марша, рассредоточиваться, отдыхать в дороге и т. д. Вот почему и могли сопровождать арбу, как писал Пушкин, “несколько грузин” (Пушкин ведь не утверждал, что они не были солдатами).

Немаловажно учесть, что первоначальным пунктом следования прапорщика Макарова с солдатами и гробом Грибоедова был именно Джалал-оглы, где располагалась крепость, которая была построена в 1826 году под руководством — и это весьма удивительно! — Дениса Давыдова, известного поэта и партизана. Вероятнее всего, в Джалал-оглы почётному эскорту пришлось пробить из-за эпидемии чумы некоторое время и, по-видимому, каким-либо образом перегруппироваться или даже переформироваться.

До сих пор появляющееся в печати сомнение, что, в отличие от траурной процессии, Пушкин якобы не мог так быстро миновать все “чумные карантинны”, когда он выехал из Тифлиса, опровергается очень просто: поэт ведь ехал из ещё не охваченного эпидемией Тифлиса в сторону боевых действий с официальным разрешением на это, свернув впоследствии с дороги на Эривань в сторону турецкого Карса и Арзрума. О самой чуме по пути следования поэт узнал как раз после встречи с останками Грибоедова, когда он встретил “армянского попа”, ехавшего в Ахалык из Эривани: “Что именно нового в Эривани? — спросил я его. — В Эривани чума, — отвечал он”. К стати, на обратном пути из Арзрума, куда уже пришла угроза чумы, Пушкин, как и траурная процессия, несколько дней вынужден был потерять в чумных карантинах: до Тифлиса он добирался больше 11 дней.

Не противоречит факту встречи и то обстоятельство, что текст о Грибоедове смотрится в общем контексте “Путешествия...” как отдельная и важная вставка. По мнению исследователя С. А. Фомичёва, этот отрывок был написан Пушкиным в качестве самостоятельного произведения ещё в 1830 году для напечатания в “Литературной газете” в качестве второй статьи о его путешествии (первая — “Военная Грузинская дорога” — была опубликована там же в начале 1830 года). Эту версию подтверждает хотя бы то, что в беловом автографе “Путешествия...” “грибоедовский эпизод” помещён на отдельных листах, заключён знаком концовки, а перед его начальными словами рукой Пушкина сделана пометка карандашом “Статья II”. По-видимому, никакие неточности в тексте о Грибоедове не смущали Пушкина, желавшего напомнить читателям о том, кого Россия так трагически потеряла.

Итак, печальная встреча состоялась, и она не могла не наложить свой отпечаток на всё путешествие, которое уже на следующий день, 12 июня, принесло поэту новый прилив эмоций. Ведь Пушкин добрался, наконец, до границы своего бескрайнего Отечества. Послушаем его яркое признание: “Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. “Вот и Арпачай”, — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда ещё не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтою. Долго вёл я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда ещё не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё ещё находился в России”.

Какой восторг и какое разочарование звучат в этих словах поэта: наконец-то он вырвался за пределы своего Отечества, на вольные просторы мира, за ту потаённую границу, преодолеть которую мечтал долгие годы, куда не раз хотел совершить свой побег странника-поэта, но и тут снова оказалась русская земля! Правда, тогда поэт ещё не знал, что ему “посчастливилось” углубиться на территорию Турции до самого Арзрума, а это не менее 300 верст по иноземным путям-дорогам. В отличие от земель Грузии и Армении, эти земли хотя и войдут впоследствии в состав Российской империи, позднее, в 1918 году, в революционную эпоху вновь вернуться в состав Турции. И можно с полным основанием считать, что Пушкин целых полтора месяца, с 12 июня по 28 июля единственный раз в жизни, но все-таки находился за границей.

### **“Не то солдат, не то путешественник”**

13 июня Пушкин прибыл в военный лагерь к своему брату Льву Сергеевичу, служившему в Нижегородском полку и принимавшему активное участие в русско-персидской и русско-турецкой войнах. Первые слова, которые сказал Пушкин, обращаясь к встреченному им декабристу М. И. Пущину, были: “. . . Где турки и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай мне, пожалуйста, видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал”. Поэт попал в самое пекло русско-турецкой войны и впервые в жизни показал себя настоящим воином, проявив неприкрытый и порой безрассудный героизм, следуя примеру многих героев той жестокой военной поры, в том числе и Грибоедова, погибшего, по сути, на поле боя с оружием в руках. Позднее Н. А. Раевский утверждал, что “было нечто, мне кажется, болезненное в той лёгкости, с которой он рисковал своей жизнью. . .” Поэт готов был мчаться под пули без всякой опаски, воодушевлённый своим участием в великих исторических событиях. И это с особой силой проявилось в сражении за Арзрум, блистательной операции, принесшей славу русскому оружию.

Многие участники этой кампании запомнили Пушкина, который в кавказской бурке, наброшенной на изысканный сюртук, в круглой шляпе, с нагайкой в руке или длинной казацкой пикой во время боя скорее напоминал солдатам то ли “немецкого пастора”, то ли “батюшку”, но никак не штатского поэта. Пушкин со свойственной ему иронией позднее изобразил самого себя в таком виде в ушаковском альбоме, нарисовав также вид города Арзрума. Участие поэта в боевых действиях протекало так: 14 июня он участвовал в перестрелке с турецкой кавалерией, 19 и 20 июня – в преследовании отступавшего противника, 22 и 23 июня – в походе к крепости Гассан-кале, а 27 июня – в самом взятии Арзрума. Преследуя турок, поэт не раз отрывался от войск и лишь случайно уберётся от пуль и ранений. По словам Пущина, “в нём разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком”. От беды Пушкина спас капитан Н. Н. Семичев, вовремя взявший под уздцы лошадь Пушкина. Как писал историк Н. И. Ушаков, “Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин. . . схватив пикой возле одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников”.

Пушкин как будто бы о самом себе писал в стихотворении “Делибаш”:

*Эй, казак! Не рвися к бою:  
Делибаш на всём скаку  
Срежет саблею кривою  
С плеч удаляю башку.*

*Мчатся, сшиблись в общем крике...  
Посмотрите! каковы?..  
Делибаш уже на пике,  
А казак — без головы.*

Во время штурма Арзрума поэт находился рядом с Паскевичем на чистом месте, когда по ним палили турецкие батареи. Так же как Грибоедов сделал

это во время русско-персидской войны, Пушкин проверил свою храбрость под обстрелом орудий. Как вспоминал М. Ф. Юзефович, “Пушкину очень хотелось побывать под ядрами неприятельских пушек и особенно слышать их свист. Желание его исполнилось, ядра, однако, не испугали его, несмотря на то, что одно из них упало очень близко”. А однажды сакля, в которой несколько минут до этого находился поэт, взлетела на воздух от прямого попадания в пороховой запас. Поэт, оказывавшийся каждый раз в центре грозных батальных событий, в итоге имел полное право сказать:

*Был и я среди донцов,  
Гнал и я османов шайку;  
В память битвы и шатров  
Я домой привёз нагайку.*

Пушкину, не участвовавшему по молодости лет в баталиях 1812 года, повезло принять живое участие в новых победах русского оружия, опередивших будущее целого края:

*Опять увенчаны мы славой,  
Опять кичливый враг сражён,  
Решён в Арзруме спор кровавый,  
В Эдырне мир провозглашён.*

27 июня русские войска вошли в Арзрум. Среди пленных был паша, который, увидев штатского среди военных, спросил, кто это такой. Узнав, что перед ним поэт, как вспоминал Пушкин, “паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: “Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет Отечества, ни благ земных, и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и все ему поклоняются”. Выходя из палатки, я увидел молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиной в руке и мехом за плечами. Он кричал во всё горло. Мне сказали, что это был мой брат, дервиш, пришедший поприветствовать победителя”.

Вообще за время своего арзрумского бегства Пушкин собственными глазами увидел столько восточного колорита, что егохватило на несколько лет творчества. Приведём несколько примеров такого рода: на пути к Георгиевску поэт посетил калмыцкую кибитку и разговаривал в ней с молодой калмычкой; не доезжая Владикавказа, он поднимался на минарет Татартуб и оставил на его стене своё имя; в Тифлисе ходил в местные бани, в которые его, несмотря на женский день, провёл “старый персиянин”, и особенно полюбил в столице Грузии армянский базар, где однажды видели, как он “шёл, обнявшись с татаринном”; в Карсе внимательно осматривал крепость, которую чудом взяли русские войска; в частях русской армии общался с “беками мусульманских полков”, проявляя особый интерес к вероисповеданию курдов-езидов, слывших на Востоке дьяволопоклонниками, разговаривал с ними и убедился в их вере в Аллаха и неприятии сатаны; в Гассан-кале побывал в серно-железистой бане, осмотрел местные источники и крепость; на полях боёв неоднократно рассматривал убитых и раненых турок, помогал последним; неоднократно беседовал с русскими солдатами и офицерами об их воинских подвигах и судьбах (к примеру, один из офицеров, попав к персиянам в плен, был оскоплён, 20 лет служил евнухом и рассказывал о своём “пребывании в Персии с трогательным простодушием”); в Арзруме участвовал во всех парадных мероприятиях по случаю русской победы, долго и подробно изучал тесные и кривые улицы города, минареты, крепостные постройки, общался с турецкими пленными, жил во дворце Сераскира; там же не испугался навестить лагерь заражённых чумой и с удовольствием посетил с целью проверки гарем пленённого Османа-паши: “Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством. Таким образом, видел я харем: это удавалось редкому европейцу”.

Поэт прекрасно видел, насколько неоднороден и разнообразен Восток. Об этом он лучше всего сказал в стихотворении “Стамбул гяуры нынче славят...”, показав разницу между “порочным” Стамбулом и “праведным” Арзрумом:



*Стамбул отрёкся от пророка;  
В нём правду древнего Востока  
Лукавый Запад омрачил —  
Стамбул для сладостей порока  
Мольбе и сабле изменил.  
Стамбул отвык от пота битвы  
И пьёт вино в часы молитвы...  
Но не таков Арзрум нагорный,  
Многодорожный наш Арзрум:  
Не спим мы в роскоши позорной.  
Не черплет чашей непокорной  
В вине разврат, огонь и шум.*

Следует особо отметить: именно во время своего боевого похода Пушкин рассказывал друзьям-офицерам, что по его первоначальному замыслу Евгений Онегин должен был или погибнуть на Кавказе (опять реминисценция с судьбой Грибоедова!), или попасть в число декабристов. Вернувшись 1 августа в Тифлис и пробыв там 6 дней, поэт первым делом посетил свежую могилу Грибоедова, который был похоронен всего лишь полмесяца назад. По воспоминаниям Н. Б. Потокского, перед могилой “Александр Сергеевич преклонил колени и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слёзы”. Сказано скупно, но мы можем представить себе, какие чувства обуревали поэта в этот миг прощания и преклонения перед другом. По некоторым данным, Пушкин посетил могилу Грибоедова дважды, что подчёркивает его особое отношение к памяти о друге. Пушкину суждено было посещать ещё не обустроенную могилу, на которой известный памятник появится намного позже, и это не могло не усиливать у поэта ощущения горечи, забвения и тревоги...

Очередной загадкой является то, что и на этот раз Пушкин не упомянул о своей встрече в Тифлисе ни с вдовой Грибоедова Ниной, ни с её отцом, поэтом и государственным деятелем А. Г. Чавчавадзе. По-видимому, эти встречи тогда всё-таки состоялись, но поэт не мог упомянуть о них в 1835 году, так как Чавчавадзе с группой его единомышленников был обвинён в 1832 году в антиправительственном заговоре, осуждён и отбывал наказание.

Восточный колорит вновь и вновь бросался в глаза поэту в столице Грузии: “Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинёв. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряжённые волами, перегораживали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали... на карабахских жеребцах”. “Очаровательный край! — писал Пушкин о Грузии. — Сколько я почерпнул истинной поэзии, сколько испытал разных впечатлений”.

Увидев многое, Пушкин остро почувствовал животрепещущие проблемы кавказского края, понимая всю тяжесть постоянных стычек и войн с местными народами, и совсем не случайно он увидел способы решения назревших противоречий через просвещение, человечность и духовное подвижничество. Позднее в статье “Военная Грузинская дорога” он прямо поднял в связи с этим вопрос о православном просвещении и проповеди Евангелия, вспомнив паломников и скитальцев: “Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мёртвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. Кто из вас, муж веры и смирения, уподобится святым старцам, скитающим по пустыням Африки, Азии, Америки без обуви, в рубищах, часто без крова, без пищи — но оживлённым тёплым усердием и смиренномудрием?”

Однако Пушкин, в отличие от многих европейских мыслителей, к примеру, Шатобриана, которые видели в проповеди христианства “единственный путь” к возрождению “отсталых” народов Востока, не относился абсолютно отрицательно к мусульманскому миру и считал, что только на основе уважения местных обычаев и традиций, понимания сути и проявлений ислама можно установить дружеские отношения с мусульманскими народами, вошедшими в состав России. Таких же взглядов придерживался и Грибоедов, который прошёл “огонь и воду” в противостоянии двух разных миров и не мог не высказывать свою точку зрения Пушкину...

Самое любопытное, что на следующий день после отъезда из Арзрума, 20 июля над Пушкиным начали сгущаться тучи. В этот день А. Х. Бенкендорф доложил наконец-то императору об отъезде поэта на Кавказ (получается, что он скрывал этот факт от государя, по крайней мере, с 22 марта, когда “случайно” узнал об отъезде и поручил продолжать по пути следования секретный надзор за поэтом). В своей записке шеф жандармов указывал: “Надо его спросить, кто ему дозволил отправиться в Эрзерум, во-первых, потому что это вне наших границ, во-вторых, он забыл, что должен сообщать мне о каждом своём путешествии”. Государь попросил разобраться и найти виновных. Тем временем, преодолев за шесть суток более 1000 верст, 20 сентября поэт вернулся в Москву, где сразу был взят под надзор.

14 октября Бенкендорф обратился к Пушкину с запросом о его поездке на Кавказ, вновь упирая на то, что поэт посмел уехать не куда-нибудь, а за границу: “Государь император, узнав по публичным известиям, что вы... странствовали за Кавказом и посещали Арзрум, высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению предприняли Вы сие путешествие”. До этого Бенкендорф поручил своим подчинённым провести расследование “побега поэта” и получил данные, что заключительная часть путешествия была дозволена Паскевичем. Приехав в Петербург, 10 ноября Пушкин написал, наконец, оправдательное письмо Бенкендорфу, в котором с лукавил, будто он почти случайно, а не с заведомой целью оказался в действующей армии: “По прибытии на Кавказ я не мог устоять против желания повидаться с братом... с которым я был разлучён в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому... с просьбой выхлопотать для меня разрешение на проезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника”.

Далее поэт написал, что он “бы предпочёл подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того... кому готов пожертвовать жизнью, и это не пустые слова”, имея в виду императора. А сам император позднее, встретившись с Пушкиным в Петербурге, по воспоминаниям Н. В. Пютяты, “спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему. Государь возразил: “Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что армия моя?” Конфликт был вроде бы исчерпан, но *недреманное око* продолжало следить за своевольным поэтом. Достаточно сказать, что в марте 1830 года Пушкин получил новый нагоняй от императора и Бенкендорфа за то, что без спроса уехал всего лишь из Петербурга... в Москву, куда приехал и Вяземский. Николай I не постеснялся в выражениях, когда сказал об этом Жуковскому: “Пушкин уехал в Москву. Зачем это? Какая муха его укусила... один сумасшедший уехал, другой сумасшедший приехал”.

Ради справедливости следует сказать, что император, держа Пушкина на коротком поводке, нередко приходил ему на помощь, причём не только финансовой поддержкой и трудоустройством поэта в качестве писателя, создающего историю Петра Великого, но и морально поддерживал его. “...Он уж и так много сделал для меня”, – признавался поэт В. А. Жуковскому. К примеру, когда Булгарин набросился на Пушкина, по словам императора, “с несправедливейшей и пошлейшей статьёй” о “Евгении Онегине”, Николай I призвал запретить Булгарину какую бы то ни было “критику на литературные произведения”. Правда, при этом в письме Бенкендорфу государь высказал всё-таки критику в адрес Пушкина в том смысле, что он “сделал бы гораздо лучше, если бы не предавался исключительно этому весьма забавному роду литературы, но гораздо менее благородному, нежели его “Полтава””.

### На пути к свадьбе

Своё возвращение в Россию после кавказской эпопеи сам Пушкин описал в “Воспоминаниях в Царском Селе” как возвращение “отрока Библии”, который “воспоминаньями смущенный” и исполненный “сладкою тоской”,

*Увидев, наконец, родимую обитель,  
Главой поник и зарыдал.*

Путешествие придало Пушкину новые силы и новые надежды. Именно в последние месяцы 1829 года под впечатлением поездки в Арзрум поэт фактически закончил главу “Странствие” романа “Евгений Онегин”, которая войдёт потом в него в качестве “Путешествия Онегина”, а также почти дописал поэму с описаниями примет быта и обычаев жизни кавказских горцев “Тазит”. Он заказал художнику Н. Г. Чернецову акварель с видом Дарьяльского ущелья, и картина маслом, созданная по этому рисунку, висела у него в кабинете в последней петербургской квартире на Мойке. Любопытно, что “дариал” на древнем персидском языке означает “ворота” или, точнее, “врата аланов”.

Вернувшись в Петербург, Пушкин прочитал тенденциозные “Воспоминания о незабвенном А. С. Грибоедове” Ф. В. Булгарина, что не могло не укрепить его желания сказать своё честное слово о Грибоедове, что он и сделал потом в своём “Путешествии...” Кроме того, Пушкин ещё несколько раз цитировал поэта и вспоминал о нём в своих статьях и письмах, встречался с людьми, которые его хорошо знали. Весьма любопытно, что в январе-феврале 1830 года Пушкин общался в Петербурге с английским офицером и дипломатом Джеймсом Эдвардом Александером, долгое время жившим в Персии, встречавшимся там с Грибоедовым и написавшим книгу “Путешествие из Индии в Англию”, изданную в Лондоне в 1827 году, в которой, в частности, утверждал, что Мирза Якуб, тот самый “зловещий евнух”, сыгравший роковую роль в судьбе Грибоедова, был тесно связан с английскими резидентами в Персии. Не будет отступлением от истины утверждать, что во время этих встреч обсуждались потаённые стороны трагедии в Тегеране.

К Грибоедову, без всякого сомнения, можно отнести и вот эти слова Пушкина, которые он адресовал памяти М. Б. Баркляя де Толли:

*О люди! Жалкий род, достойный слёз и смеха!  
Жрецы минутного, поклонники успеха!  
Как часто мимо вас проходит человек,  
Над кем ругается слепой и буйный век,  
Но чей высокий лик в грядущем поколенье  
Поэта приведёт в восторг и умиленье!*

Пушкину пришлось не раз оправдываться в том, что, вернувшись с Кавказа, он не воспел ратные подвиги русского войска. На самом деле поэт гордился русскими победами, но не хотел по заказу воспевать царедворцев и полководцев и даже высказался об этом в своих набросках:

*Пока сердито требуют журналы,  
Чтоб я воспел победы россиян  
И написал скорее мадригалы  
На бой или на бегство персиян...*

В 1831 году в “Бородинской годовщине” Пушкин всё же отдал дань И. Ф. Паскевичу и как усмирителю польского восстания, контуженному, но выжившему в боях за Варшаву, и как кавказскому герою, победителю персиян и турок:

*Победа! Сердцу сладкий час!  
Россия! Встань и возвышайся!  
Греми, восторгов общий глас!..  
Но тише, тише раздавайся  
Вокруг одра, где он лежит,  
Могучий мститель злых обид,  
Кто покорил вершины Тавра,  
Пред кем смирилась Эривань,  
Кому суворовского лавра  
Венок сплела тройная брань.*

При этом Пушкин вспомнил “летающего за Прагу младого внука” Суворова, князя А. А. Суворова, того самого, который во время русско-персидской вой-

ны был рядом с Грибоедовым, когда он испытывал свою храбрость, не укрываясь от залпов вражеских орудий.

Поездка на Восток на время успокоила страсть Пушкина к путешествиям, но уже в конце 1829 года он написал, по сути, программное стихотворение и для самого себя, и для многих путешественников, назвав несколько мест, которые ему хотелось бы посетить:

*Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,  
Куда б ни вздумали, готов за вами я  
Повсюду следовать, надменной убегая:  
К подножию ль стены далёкого Китая,  
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,  
Где Тасса не поёт уже ночной гребец,  
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,  
Где кипарисные благоухают рощи, —  
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья,  
Скажите: в странствиях умрёт ли страсть моя?*

В этом стихотворении поэт упомянул несколько стран, куда влекли его мечты странника, — Китай, Францию, Италию и, вероятно, Испанию. А какая была реальная подоплёка этого стихотворения? Оказывается, очень и очень любопытная, вновь связанная с Востоком. Дело в том, что после возвращения с Кавказа поэт неожиданно встретился со своим старым знакомым по работе в Коллегии иностранных дел П. Л. Шиллингом, человеком широкого научного кругозора, занимавшимся не только физикой, но и синологией (китаеведением). Зная китайский язык, Шиллинг изучал рукописи Древнего Китая и занимался организацией научной экспедиции в эту страну. Экспедиция должна была отправиться туда вместе с российским посольством. Он пригласил Пушкина, известного своей страстью к путешествиям, присоединиться к этому весьма трудному и опасному предприятию, поскольку Китай в ту пору для европейцев был «закрытой страной». На интерес Пушкина к Китаю повлияли и знаменитый своими авантюристическими наклонностями Н. Я. Бичурин (в монашестве Иакинф), который в качестве начальника православной духовной миссии прожил в Китае 14 лет и написал целый ряд книг, в том числе «Описание Тибета». Пушкин не только был знаком с этими книгами, но и часто общался с Бичуриным, открывавшим поэту тайны далёкого Китая и звавшим его в намеченную экспедицию.

Из-за сложности со сватовством к Н. Н. Гончаровой поэт находился в тот период на грани отчаяния и живо откликнулся на предложение друзей. 7 января 1830 года он отправился на приём к Бенкендорфу, но не застав его, написал ему письмо, в котором повторил свою старую просьбу о посещении Европы и сообщил о своём новом желании — посетить Китай: «Покамест я ещё не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством».

По сути, в данном случае поэт поступал так же, как Байрон перед своей женитьбой. Опасаясь отказа в сватовстве, Пушкин признавался в незаконченном отрывке «Участь моя решена, я женюсь...», переведённом якобы с французского, в твёрдом и навязчивом желании уехать подальше от родных просторов: «Если мне откажут, — думал я, — поеду в чужие края, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся, морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег: “My native land, adieu”. — “Моя родная земля, прощай” (англ.)». Причём поэту почти неважно было, куда ехать. В том же 1830 году в «Домике в Коломне» поэт признавался, что ему всё кажется, «что в тряском беге / По мерзлой пашне мчусь я на телеге»:

*Что за беда? не всё ж гулять пешком  
По невскому граниту, иль на бале  
Лощить паркет, или скакать верхом  
В степи киргизской. Поплетусь-ка дале,  
Со станцию на станцию шажком...*

Однако его надеждам на новое путешествие не суждено было сбыться. 17 января он получил ответ Бенкендорфа с уведомлением, что император “не соизволил снизить на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела, а кроме того, слишком отвлечёт вас от ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай также не может быть удовлетворено, потому что все входящие в неё лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора”. Как же Николай I не хотел никуда отпускать поэта, в первую очередь, в силу его сомнительной “неблагонадежности”? В марте 1830 года он не отпустил Пушкина даже в Полтаву с Николаем Раевским. И как мог император утверждать, что путешествие в Европу “отвлечёт” Пушкина от его “занятий”, ведь литературное поприще, особенно для гениального поэта, в том-то и состояло, чтобы “напитываться новыми впечатлениями” и на их основе создавать новые произведения.

М. А. Цявловский в своих, к сожалению, уже забытых статьях о Пушкине приводил вообще феноменальный для темы нашего исследования факт: когда зимой 1830 года Пушкину было отказано в посещении Европы и Китая, он ухватился за мысль проситься в Персию, поданную ему тем самым чиновником III Отделения А. А. Ивановским, который навещал Пушкина ещё в 1828 году. Свидетельств факта такого прошения в документах не сохранилось, но ведь оно могло быть высказано и в устной форме, например, во время одной из встреч Пушкина с Бенкендорфом. В любом случае, готовность Пушкина отправиться туда, где погиб его друг и выдающийся дипломат Грибоедов, говорит о многом: и о смелости, и о готовности жертвовать собой, и о дружеской верности великого поэта!..

Пушкину пришлось ещё долго оправдываться за свою поездку в Арзрум, “за которую имел я несчастье заслужить неудовольствие начальства”, как писал он Бенкендорфу 21 марта 1830 года. При этом он привёл слова, сказанные ему как-то самим шефом жандармов: “. . . Вы вечно на больших дорогах”. Тем самым Бенкендорф как бы намекнул поэту: зачем ему ездить в далёкие страны, если он и так всегда в пути и движении, хватит, мол, и этого.

Пушкину опять не повезло с путешествиями в чужие страны (не совершать же ему новый побег?), но зато повезло в любви: поэту, наконец, удалось получить согласие на брак с Гончаровой у её матери. Это произошло после того, как он показал ей письмо Бенкендорфа от 28 апреля 1830 года, в котором утверждалось, что в положении Пушкина нет “ничего ложного и сомнительного”.

Экспедиция же в Китай, организованная Шиллингом и Бичуриным, продолжалась с 1830-го по 1832 год, были собраны уникальные восточные манускрипты, пополнившие Азиатский музей Академии наук в Петербурге. Пушкин внимательно следил за ходом экспедиции и публиковал в “Литературной газете” заметки о ней Бичурина. Его интерес к Китаю долго не ослабевал. Известно, например, что во время своего пребывания в Полотняном заводе в мае 1830 года он на первое место среди предметов своего внимания поставил книги о Китае: “Описание Китайской империи” и “О градах китайских”. Осенью того же года поэт писал из Болдина в письме к жене: “Передо мной теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к вам через Кяхту. . .” Позже Пушкин в “Истории Пугачёвского бунта”, рассказывая о бегстве калмыков-торгоутов на границу с Китаем, писал: “Самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с Востоком”. А в последние месяцы жизни Пушкин проявлял особый интерес к истории Камчатки. . .

А. О. Смирнова-Россет, в воспоминаниях которой, правда, некоторые исследователи находят сомнительные сведения, уверяла, тем не менее, что интерес Пушкина к Китаю был совсем не случайным: “Я спросила его: неужели для его счастья необходимо видеть фарфоровую башню и великую стену? Что за идея смотреть китайских божков? Он уверил меня, что мечтает об этом с тех пор, как прочёл “Китайского сироту”, в котором нет ничего китайского; ему хотелось бы написать китайскую драму, чтобы досадить тени Вольтера”. В черновиках первой главы “Евгения Онегина” сохранились недописанные пушкинские строки о Конфуции:

*Конфуций — мудрец Китая  
Нас учит юность уважать —  
От заблуждений охраняя,  
Не торопиться осуждать.  
Она одна даёт надежды...*

Китайский эпизод в мечтаниях Пушкина о дальних странствиях ещё раз демонстрирует, насколько отзывчивым он был к истории и жизни самых разных народов мира, как увлечённо он бредил Востоком, понимая, вероятнее всего, ту великую миссию, которую суждено было выполнить русскому народу в Азии. Косвенно об этом осознании свидетельствует записанный Пушкиным в дневнике его разговор 30 ноября 1833 года с английским поверенным в делах в Петербурге Блаем: “Долго ли вам распространяться? (мы смотрели карту постепенного распространения России, составленную Бутурлиным). Ваше место Азия; там совершите вы достойный подвиг цивилизации...”

Накануне свадьбы поэта, 12 февраля 1831 года из поездки в Персию вернулся старший брат Натальи Николаевны Дмитрий Гончаров, который, будучи чиновником Министерства иностранных дел, как раз и занимался в Тавризе разбором вещей и бумаг Грибоедова. И совершенно очевидно, что он не мог не рассказать Пушкину во время их встреч о подоплёке и реальных обстоятельствах гибели поэта-посланника. Неизвестно, привёз ли Гончаров с собой в Москву что-либо памятное из грибоедовских вещей...

Между тем венчание поэта и Натальи Гончаровой прошло 18 февраля 1831 года и было омрачено предзнаменованием, которое уж слишком явно напомнило то, которое произошло два с половиной года назад во время венчания Грибоедова с Ниной Чавчавадзе 22 августа 1828 года в Тифлисе, когда болевший лихорадкой жених обронил обручальное кольцо и сказал, что “это дурное предзнаменование”. Присутствовавшая на венчании Пушкина Е. А. Долгорукова вспоминала: “Во время венчания нечаянно упали с аналога крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свечка. “Tous les mauvais augures” — “Всё плохие предзнаменования” (франц.), — сказал Пушкин, выходя из церкви”. Провидение ещё раз протянуло незримую ниточку сходства между судьбами двух великих поэтов, хотя одному из них до исполнения мрачного предзнаменования оставалось чуть более 5 месяцев, а другому — немногим менее 6 лет.